Михаил Веллер

Кухня и кулуары

Часть сборника
Не ножик не Сережи не Довлатова (сборник)

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Да нет, не та кухня, которая литературная, а та, которая обычная, шестиметровая, где чай пьют и реже – водку, да и то и другое все реже, и судят обо всем обстоятельно и (мой дом – моя крепость) безоглядно храбро. Не пожрать, так хоть потрындеть; а в литературе кто ж не специалист. Как там звали парнишку, накатавшего «Школу злословия»? не пивал он наших чаев, не сиживал на кухоньках, задвинутый плотно и глухо, как в танке. Кости моем – белей снегов Килиманджаро, учись, пиранья…»

- Михаил Веллер
  -
  - Разрушение легенд
  - Такт и ярлыки
  - «Как закалялась сталь»
  - «Повесть о настоящем человеке»
  - Госкомиздат
  - Полиглот
  - «Дата Туташхиа»
  - Лучший в мире читатель
  - Пушкин и русский язык
  - «Герой нашего времени»
  - «Тарас Бульба»
  - Тургенев
  - Бунин
  - Литература и язык
  - Поэты и кумиры
  - Ворошилов, Жюль-Верн и космополитизм
  - Стиль Платонова и Толстой
  - Красивое вранье Паустовского
  - Гайдар
  - Битов и фортуна
  - Владимир Гусев
  - Александр Чепуров
  - Новаторы и консерваторы в литературе
  - Напутствие молодым
  - Правда, вымысел, ложь
  - Имидж
  - Фиеста
  - Пикуль
  - Юлиан Семенов
  - Критика

- «Молодая Гвардия»
- Переводчики
- Театр
- Будущее нашей культуры
- Нобелевка

Михаил Веллер
Кухня и кулуары

Мимо тещиного дома
я без шуток не хожу.

Частушка

Не плюй в колодец…

Пословица

Да нет, не та кухня, которая литературная, а та, которая обычная, шестиметровая, где чай пьют и реже – водку, да и то и другое все реже, и судят обо всем обстоятельно и (мой дом – моя крепость) безоглядно храбро. Не пожрать, так хоть потрындеть; а в литературе кто ж не специалист. Как там звали парнишку, накатавшего «Школу злословия»? не пивал он наших чаев, не сиживал на кухоньках, задвинутый плотно и глухо, как в танке. Кости моем – белей снегов Килиманджаро, учись, пиранья.

Разрушение легенд

– Издание, наконец, вещей, бывших полвека подзапретными легендами, сослужило многим из них дурную службу. Вообще редкий оригинал может сравняться с легендой о себе. Выход же общедоступными тиражами Хлебникова или Замятина многих разочаровал: интересно, талантливо, но вовсе не так хорошо, как в почтительном незнании ахалось, мудро-сокрушенно качалось головами и ставилось выше известного.

– По психологии запрета и незнания всегда воображается черт-те что, а узнаешь – с ног не падаешь, ничего сверхъестественного, и даже многое, уже бывшее известным, лучше.

– У кого это было: «Стоит обезьяне попасть в клетку, как она воображает себя птицей»?

Такт и ярлыки

– Уж такие мы тактичные: ни подлеца подлецом назвать, ни гения гением, пока не канонизирован покойник, либо не «сформировалось мнение всей общественности». В кулуарах вечно такая полива – святых выноси, матерок свищет, а нажрутся – все друг другу гении, а в печати или с трибуны – не то горло спирает, не то промежность натерло: все на цырлах, закругленные формулировки, тьфу.

А я прямо скажу, и за слова свои отвечаю: Симашко в «Емшане» и «Искуплении дабира» – гений, и Маканин в «Где сходилось небо с холмами» – гений: без преувеличений, верх мирового класса. А Марков Георгий Мокеич – бездарь и подонок со своим штабс-капитаном Ерундой и дедом экс-щукарем Епишкой или как его, и обливанием грязью и Быкова, и Евтушенко, и Эренбурга, и Солженицына с высокой трибуны. И Иван Стаднюк со своей «Войной» – писатель для солдат с четырехклассным образованием и тупица.

– Всех тупиц не перечислишь. А х-хорош-ша секретарская литература!

«Как закалялась сталь»

– Что касается закалки стали, то мозги нам действительно сумели закалить до чугунного состояния, чего нельзя сказать о нервах.

– Бедный парень: искренне верил в то, за что дрался, герой идеи, жизнь положил, слепым трупом на койке – писал! боролся! и не хуже других. Конечно, с литературной точки зрения ничего это из себя не представляет…

– Да? так вы что, не слышали, что на самом деле писала это за него бригада профессионалов? совершенно известная история. Он действительно пытался… а нужно было создать легенду, знамя, ударную книгу сталинской молодежи.

– Слушайте, я в литературе не сильно волоку, но один случай там интересный; примечательный. Про узкоколейку. Все помнят, да: строили, метель, зима, дрова возить, голод, герои?

Так вот. Я как-то на шабашке строил с бригадой узкоколейку в леспромхозе. Валим просеку, обсучковка, режем стволы на шпалы и укладываем, потом рельсы накладываем и пришиваем. По десять часов, в заболоченной тайге, гнус жрет, – пахота. И за месяц вдевятером сделали километр. Тяжело; спали спокойно, жрали каши-макароны – от пуза.

И вот в выходной как-то я вспомнил – и задумался: а сколько же они там километров-то сделали, в «Стали»? Интересно…

Прилетел домой – схватил книжку с полки.

Изумительная вещь обнаружилась! Я там такого вычитал – семьдесят лет назад бедные комсомольцы сами не подозревали! Явная диверсия была устроена – и до сих пор не раскрыта!!!

Ну, что городские власти в ноябре обнаружили, что скоро будет зима, а дров нет – это по-нашему, по-советски; это уже неплохо.

Сколько послали комсомольцев? – Триста.

Сколько верст надо построить? – Шесть.

Кто проходил в первом классе арифметику? Сколько будет разделить триста комсомольцев на шесть верст? – Будет один комсомолец на двадцать метров. Двадцать метров!

Объясняю, что такое двадцать метров. Это двадцать пять шпал и три звена рельсов (они шестиметровые). Шпала-кругляк под узкоколейку весит килограмм двадцать пять. Рельс тогда под узкоколейку шел практически весь ТИП-18 или ТИП-22 – это восемнадцать или двадцать два килограмма на погонный метр, а весь рельс, стало быть, сто десять – сто тридцать кило. И вот эти двадцать пять шпал и шесть рельсов на человека они и делали

геройски бесконечные недели!! эпопея!! причем шпалы лежали уже готовые, только подноси и клади! да мы им эту вонючую дорогу вдевятером за месяц сделали бы!

Организация – сверхбездарная! куча народу без толку. Делись на три смены вкруглосуточную, доставай любые тележки возить шпалы и рельсы вдоль трассы, – да там на два дня максимум работы для такой оравы!

А самое главное – на кой черт они долбили в мерзлой твердой земле ямки под шпалы??!! Какой идиот, какой саботажник им это велел?! Рабочая ветка на пару месяцев, скорость на ней не нужна, – на фига копать?! кладут прямо на землю! все, всегда, везде!!

Да – холодно-голодно-бандиты. Конечно. Так не два дня, а шесть: четыре шпалы и одна рельса в день. Норма дистрофика с нарушением координации. Да нет – просто смехотворно. Апофеоз идиотизма. Прообраз наших строек. Боже мой!

Закалка стали? Молотом по яйцам это, а не закалка стали!

«Повесть о настоящем человеке»

– В санчасти как-то после войны уже лежал, скука, читать нечего, мысли разные, и вот «Повесть о настоящем человеке» стал вдруг что-то читать не как книжку, ну, а как летчик. И возникли, должен сказать, вопросы. Кому их задашь? замполиту? или школьной учительнице – жене командира?

Маресьев, конечно, герой, книжку писал не он; хотя потом уже я узнал, что в сороковом году, во время воздушной битвы за Англию, над Нормандией был сбит на своем «Спитфайре» английский капитан, командир эскадрильи, который успел выброситься с парашютом и при приземлении сломал оба протеза. Ног не было выше колен. Немцы были настолько потрясены, что на следующий день сбросили на его аэродром вымпел, где просили скинуть для него с парашютом протезы в назначенном месте. И на этих протезах он благополучно прожил в лагере до освобождения. (При этом, естественно, он не был ни русским, ни коммунистом, и комиссара Воробьева не знал; но это я сейчас такой умный, в свете перестройки и гласности).

Но по порядку. Бомбардировщики разгружаются над объектом, истребители прикрывают, немцев в воздухе нет, что же делает командир конвоя? – удаляется один в сторонку немножко пока повоевать. Тут на бомберов и мессеры свалились.

Это какая-то ахинея первая. Увлекся, понимаешь, рвением горел! Да если прикрытие – по любой причине! хоть на минуту! – оставляло бомберов, и немцы срубали хоть один, то командир истребителей автоматически шел под трибунал – и в редком случае шел в штрафбат, а так – расстреливался. Грубейшее нарушение приказа – охраны вверенных бомбардировщиков! Таково было положение, закон.

Дальше. Взяли его в клещи – сажать повели. Да на кой он им сдался? новая секретная машина, или ас знаменитый? или делать им нечего было? жгли всех пачками, а тут решили истребителя сажать.

Ну ладно: ведут. И тут он уходит наверх, вырываясь из-под верхнего. Только зацепить успели. Чтоб «И-16» ушел от «Мессершмитта» на вертикалях – это спорно. На горизонталях – ладно: скорость ниже, крыло короче, радиус разворота меньше, – маневренней на горизонталях, можно ускользнуть. Но на вертикалях – с меньшей скоростью, меньшей мощностью, меньшим темпом набора высоты, – не знаю, не слыхал.

Ладно: ушел. Тянет домой с обрезанным движком. Явно не дотягивает, внизу лес, садиться некуда. Вопрос: почему не

прыгает с минимальной высоты, пока можно? Это ж самоубийство, почти нет шансов остаться в живых, в лучшем случае переломаешься в труху! Объясните мне, летчику, зачем втыкаться в лес?!

Лежит. Медведь подходит, шатун. Ходил я на медведя… Если на лес грохнется с неба самолет поблизости, то медведь тут же обделается и удерет от этого необъяснимого ужаса, и приблизится очень нескоро и очень осторожно. Ну, шатун, жрать хотел – пришел. Когтем цапнул – комбинезон не подался. Да он цапнет – жесть раздерет, голову оторвет! «комбинезон не подался»! Понюхал – решил: мертвый. Это, может, Полевой решил бы, что мертвый, а медведь – он как-нибудь разберет, кто мертвый, а кто живой. И свернет шею. Голодный – закусит сразу, сытый – прикопает, чтоб запашок пошел, но сытый шатун – это редкость большая. Короче, глупый медведь попался и несчастливый. Потому что человек тут же, лежа, выстрелил в медведя из пистолета и убил его. Это, стало быть, лежа, навскидку, одним выстрелом, из пистолета ТТ – какого ж еще? – калибра 7,62 – уложил медведя. Странно еще, что не из рогатки он его убил. Как пропаганду мощи советского стрелкового оружия я это понимаю, а как рецепт охоты на медведя – пусть мне писатели растолкуют, это я не понимаю. Эту живучую махину – из этой пукалки? в сердце – фиг, на дыбки поднимать надо, иначе не попасть, с черепа рикошетом соскользнет, позвоночник из этого положения такой ерундой тоже не перешибешь. Короче, охотник на привале.

Кстати. Курс свой он знал, карту имел, расстояние до линии фронта представлял, – чего он тогда медвежатиной не запасся? Или исключительно ежиков и клюкву предпочитал?

А вот дальше он чувствует, что похоже, переломал плюсны стоп. Похоже, даже раздробил. И что же он делает? Снимает унты… Пока меня первый раз не ранило, я не понимал, почему на раненых одежду срезают, а не снимают нормально. А потому что движения эти всё в твоей ране смещают, давят, трут, кажется – просто мясо у тебя с костей завернется пластом, если штаны на тебе не разрежут, а снимать начнут с раны. И сапоги срезают, и валенки. А когда раздроблены все мелкие косточки стопы – снимать обувь, – это пытка чище любого испанского сапога. Так мало того – он потом унты обратно натянул! Тут я не выдержал, спросил у доктора в санчасти. Удивился доктор, прочитал, помычал, уклонился. Так он потом еще встал на эти ноги и пошел!!! По горячке после ранения и на обрубках пойдешь, но это первые минуты только, а потом всё! это где ж вы видели, чтоб люди на раздробленных ногах шли да шли?!

Как хотите, но все это чушь.

С тех пор хотелось мне как-нибудь с Маресьевым встретиться и узнать, как на самом деле все было. Если только не случилось так, что вместо собственной памяти у него теперь сочиненное хреновым, я вам доложу, писателем Полевым.

Госкомиздат

– Гениальная контора, достойно координирующая наш бред в области книгоиздательства. Особенно радостно это выглядит на параллельных изданиях:

В течение нескольких лет десять разных издательств издают «Трех мушкетеров», скажем. Десять редакторов редактируют, десять художников художничают, десять корректоров вычитывают, десять наборщиков набирают и т. д. Почему не отдать все одному издательству и одной типографии? Потому что тогда тираж съест всю бумагу и всю мощность этой типографии, и издательство придется закрывать. И слава богу, закрыть! другие книги будут издавать другие издательства. А планы? штаты? зарплаты? Десятикратно будем повторять мартышкин труд и жаловаться на нехватку всего.

Полиглот

– Военная биография начальника Союза писателей СССР Карпова вызывает глубочайшее уважение, литературные же упражнения и заслуги представляются, как бы это сказать, менее бесспорными.

Когдатошние его ташкентские знакомые отзываются о нем как о парне очень славном; но почему творческий союз должен возглавлять генерал, лучше объяснят, наверное, генералы, нежели писатели.

А казус, утверждают, произошел следующим образом:

Вновь назначенный Карпов сидел в президиуме на какой-то пресс-встрече с иностранцами, и, представляя его, сказали, что он в прошлом кадровый офицер, генерал в отставке, фронтовик и разведчик, прошедший всю войну и захвативший семьдесят пять «языков». Девочка, переводчица-синхронистка, мало знакомая с военной терминологией, перевела в запарке, что за время войны он овладел семьюдесятью пятью языками. Иностранцы замерли в изумлении перед столь необычайными способностями разведчика. Пока кто-то из наших не понял, наконец, в чем дело, и захохотал невольно, и устроили радостную овацию. Кто-то проорал в восторге: «Полиглот!» Так это прозвище за глаза и прилипло.

«Дата Туташхиа»

– Если бы Амирэджиби умел немного лучше, короче и тщательнее писать, этот роман занял бы место в мировой классике. Замах, контур, идея – величественны; боюсь, это тот самый обидный случай, когда есть все для гениальности, кроме достатка профессионального мастерства.

Лучший в мире читатель

– А я тебе так скажу: делать нечего – вот и читают. Покупать нечего – покупают книги. Выделиться нечем – выделяются библиотекой как ингредиентом престижа. При нужде найти невозможно – хватают нужное и ненужное при первом случае.

Кто читает? высоколобые книги я имею в виду? интеллигент читает. Кто есть советский интеллигент? человек с высшим образованием и низшей зарплатой, без всяких возможностей создать себе материальное благополучие, работая по специальности. Он не может основать собственное дело, заработать миллион на изобретении, иметь всегда перспективу роста, работать по своему уму и способностям от пуза и расти без предела, – масса его умственной энергии невостребована, сенсорный голод не удовлетворен, объездить мир невозможно, купить свой хороший дом невозможно, оставить детям состояние невозможно, поэтому он всегда немного Манилов. И он читает – вдумчиво, истово, эмоционально. А создать ему американские условия – бросит читать к чертовой матери, вместо этого будет жить, работать и развлекаться.

Для нас чтение – отчасти сублимация, компенсация, опиум, онанизм и самоутверждение. Вопрос «Вы читали…?» заменяет обычно вопрос: «Вы отдыхали во Флориде?» или «Вы купили клинику?» или «Вы совершили то-то и то-то?».

С каким умным и образованным видом судили пять миллионов интеллигентов о среднепробной беллетристике «Плахи» или «Детей Арбата»! Нет светской жизни, нет свободной жизни, – даешь духовную жизнь!

А что делать? водка? футбол и рыбалка? выпиливание по дереву?

Когда человек урабатывается – ему не до сложных книг. А если в работе еще и видит смысл своей жизни – ему не до второй серьезной работы, каковой является чтение серьезных сложных книг.

Книг у нас больше покупают, чем читают, и больше читают, чем понимают. Потому что нет у нас, нет ста тысяч читателей Пруста! Зато есть пять миллионов, которые за треху охотно поставят его на полку, а себя – на ступенечку выше в табели о рангах: образованность у нас все же престижна.

Так просто: серьезные книги ведь серьезны не абсолютно, сами по себе, а относительно большинства других, менее серьезных, и воспринимаются небольшой частью читателей, более склонных и способных к этому, чем большинство. Это

элементарно, да, Ватсон?

И глупо сетовать, что большинство все более предпочитает ТВ и видео. Рассказ о событии был заменой собственного увидения этого события, книга – заменой устного рассказа, а кино через эдакий диалектический виток предельно приближает нас к увидению и познанию события во всех красках, движениях и деталях: лучше один раз увидеть, утверждали, чем сто раз услышать.

Читать хорошо. Но жить все-таки лучше.

Пушкин и русский язык

– Весь восемнадцатый век на русский язык, фигурально выражаясь, натягивалась по возможности немецкая грамматика; общеизвестно. А в первой трети девятнадцатого у Пушкина (в прозе) и особенно у Лермонтова – у него это просто ясно видно – появляется нечто совсем новое: они как бы пишут французским языком по-русски, или русским языком на французский лад, если угодно: строй фразы, ее синтаксис – не русские, с точки зрения русской грамматики – местами буквально не мотивированы, а калькированы с французского. Любимые лермонтовские точка с запятой между отдельными словами, двоеточие как знак скорее интонационно-оттеночный, нежели несущий какую бы то ни было конкретную грамматическую функцию, – столь же характерны для художественного французского языка той эпохи, сколь нехарактерны для русского.

Вот это изящное и фривольное офранцузивание русского языка и стало началом и основанием языка русского литературного классического.

Дивная тема для кучи диссертаций. А что? Образованные дворяне того времени овладевали французским часто раньше и основательнее, чем русским; вот вышеупомянутые и впали в ересь: смешали языки – в хорошем, высоком смысле – придворный аристократический французский и житейский родной русский: вот и легкость, и гибкость, и блеск, и длинное дыхание фразы.

«Герой нашего времени»

– С руки Эйхенбаума принято возводить родословную Печорина к Констану-Шатобриану. Да-да, конечно. Но:

Почему Лермонтов бросил «Княгиню Лиговскую»? Такая штука: Печорин уже, от рождения, имеет все то, к чему бедный герой «Лиговской» стремится. Ну, достигнет… не в энтим счастье.

Вопрос: читал ли Лермонтов «Красное и черное»? Не знаю. Но по логике вещей – должен был, вероятно, прочитать.

И он, что естественно для человека толкового, в данном случае – для гения, начинает там, где другой кончил. Печорин, как и Сорель, красив, умен, горд, полон жизни, – но ему уже ничего не надобно добиваться, то, чего вожделеет один – другой уже имеет. И вот что из этого вышло.

Зачем было писать «Княгиню Лиговскую», если «Красное и черное», то бишь «Путь наверх», было уже написано. И он пишет уже «Жизнь наверху»: следующую и другую ипостась той же, в сущности, коллизии.

Хронологически, по датам, это вполне совпадает.

Психологически, творчески, тоже было бы естественно.

Сопоставительным анализом эта версия легко простраивается в подробностях и доказывается. Странно, что до сих пор этого никто не сделал.

Впрочем, в массе своей литературоведы такие же тупые люди, как и прочие граждане.

«Тарас Бульба»

– Гоголь, конечно, был гений… упаси Бог, я не замахиваюсь… все мы из шинели, так сказать, хотя большинство из телогрейки… но изучение «Тараса Бульбы» в школе… ну я не знаю…

Они же там всех режут, и это так, значит, замечательно, когда они режут; а вот когда их режут, это ужасно и мерзко. То есть когда они бьют – это хорошо и похвально, а когда их бьют – это плохо. Сплошной гимн дружбе и интернационализму! Сплавали за море пожгли турок – молодцы. Порезали поляков – молодцы. Евреев потопили – молодецкое развлечение. Жиды трусливые, жалкие, грязные, корыстные и пронырливые, и их потуги спастись от смерти вызывают только смех. Полезная для школы книга. Особенно полезно ее изучать, наверное, именно евреям, полякам и туркам. Удивительно гуманный образец великой русской классики.

Тургенев

– Характером и духом великий либерал, что видно из его биографии и произведений, был не слишком кремнев; Виардо в их любовном дуэте его переломила и подчинила навсегда, следствия чего прочитываются и без изучения психоанализа Фрейда. И все его герои не есть сильные люди, даже если хотят таковыми казаться и кажутся окружающим и даже себе: авторские антиномии, пертурбации, коллизии и мелихлюндии начиняют их всех.

И только в одном случае попытался создать Тургенев сильный мужской характер, каким сам не обладал и который мечтал себе выработать, иметь хотя бы для самосознания, самоуважения: это отец Владимира из «Первой любви». И когда он взмахивает хлыстом, а она смотрит неизъяснимо и целует на своей руке след его удара, вспухший рубец, – вдруг понимаешь, чувствуешь, что это неправда, не было, не могло быть, но очень хотелось, чтобы было: безумно мечтал Тургенев быть вот таким мужественным, повелительным, забравшим полную власть над любимой женщиной, предавшейся ему всем телом и душой.

– Если нет в тебе крутизны – крутого героя не сделаешь. Тот, кто так обращается с любимой женщиной, уж с нелюбимой женой еще лучше разберется; а тут – ах-ах, слезы-мольбы, дай развестись – хочу жениться, все плачут, болеют, умирают и уезжают. Да, Тургенев пытался иногда представить себя таким крутым, и в письме, естественно, сублимировал, но даже не знал, бедный, что дальше-то будет делать такой крутой! и давай его плакать…

– Бедолага! Недаром солдафон Толстой издевался в «Современнике» над его «демократическими ляжками»: «Шлепну шпака, как мух-ху!»

Бунин

– Да нет, не тот, конечно, который начальник в Лениздате, а который Иван Алексеевич. Уж так он себя любил, так щемяще и пронзительно любил, что просто не знаю… и жалел. Неприлично, не по мужски, неловко иногда читать, в конце концов. В чем-то – основу его творчества составляет внимательная, понимающая, трогательная, с сочувствием и жалостью любовь к себе, любимому.

– Любил барин клубничку и себя в клубничке, и болезненно скорбел по отсутствию оного.

Литература и язык

– Блеск блеском, ан не блестящие произведения остаются вершинами; блеск литературы условен, понимание истин человека и бытия – абсолютно: энергию таланта следует скорее направлять на их постижение, нежели на шлифовку формы; хотя этим оправдываются и банальные бытописцы, но заурядность всегда найдет чем оправдаться…

Не блестящий мэтр академик Мериме, но «скверные стилисты» Стендаль и Бальзак остаются вершинами французской литературы; а достигнув формального совершенства, она в XX веке решительно деградировала. А поперла американская – грубоватая, мощная, витальная.

Блеск российского «серебряного века» – это талантливость мастеров, в совершенстве овладевших всей изощренностью высокого искусства любви – но утерявших могучий и неразборчивый инстинкт ее подлинной страсти. Толстой, не говоря о Достоевском, «плохо писали», – но в результате неплохо вышло. Мысль и страсть решают все! Привет пассионарности.

Поэты и кумиры

– Каждый чего-то не может понять, в силу, видимо, своей ограниченности. И вот моя ограниченность не дает мне понять, как на I Съезде письменников, когда встали у сцены метростроевки в алых косынках и с отбойниками на плечах, Пастернак у ближайшей пытался взять отбойник и держать сам, он не может, чтоб девушка тяжесть держала, а потом сказал, что даже не знает названия этого тяжелого «забойного инструмента»; моя тупая ограниченность не позволяет мне понять, что это он сделал искренне и естественно. Это вполне согласуется с «какое там, милые, у нас тысячелетье на улице?», но никак не согласуется со вполне здравыми и рассудочными поступками жизни Пастернака, а уж в 34-м газеты, радио, кинохроника так трубили о метро и шахтерах-стахановцах. Боюсь, что это тоже – создание имиджа.

И никак мне, скорбному умом, не понять, как можно неоклассицистов Ахматову и Мандельштама, при всем моем к ним человеческом уважении и преклонении перед трагичностью и муками пути, и поэта внутри поэзии Пастернака, и благородного интеллигенто-авантюриста Гумилева, писавшего стихи для гимназистов и барышень (помесь рашен Киплинга с рашен Рембо плюс эстетская циничноватая самоирония Северянина) ставить в один ряд с Поэтом милостью Божией Мариной Ивановной Цветаевой, естественной и страстной во всем, боль и нерв, надрыв и удаль, саможжение и безоглядность. Голову склонить – но не ряд, не чета, не ровня.

Ворошилов, Жюль-Верн и космополитизм

Покойный Евгений Павлович Брандис рассказывал:

В сорок девятом его, кандидата-филолога-германиста, за пятый пункт турнули из Пушдома и напугали на всю оставшуюся жизнь. И остался он без работы. И никуда не брали. А семья, дочка, кормиться надо. Изредка разрешали где-нибудь платную лекцию или выступление. Да таллиннская «Вечерка» брала статьи к юбилеям русских писателей.

Но какой-то детский клуб вела его добрая знакомая, и вот она приглашала его почаще рассказывать детишкам о всяких интересных книжках. А круг дозволенных интересных книжек был сужен до предела. Одним из незапрещенных оставался Жюль-Верн: нет, в плане борьбы с низкопоклонством перед Западом тоже не издавали, но поминать запрещено, вроде, не было. И через несколько лет такой жизни Брандис, подначитавшись и поднаторев в безопасном и безвредном Жюль-Верне, даже написал трехлистовую брошюрку, и даже ее маленьким тиражом издал как-то под каким-то скромным методическим грифом.

А тем временем умер Сталин, пошла большая чехарда в верхушке, и первый красный офицер Ворошилов оказался на курировании культуры. И директор Гослитиздата, соответственно, и явился к нему подписывать планы выпуска литературы на будущий год.

Ворошилов встретил его благосклонно, проворошил нелюбовно пачку листов, закурил: решил поговорить немного о литературе, наставить, поруководить издательским процессом.

– А вот ты такие книги, интересные там, приключения издаешь?

Директор напрягся, поймал, решил, сориентировался:

– А как же, Климент Ефремович, конечно, издаем!

– Какие?

– Э, м-н, ну, вот скажем…

– А я вот в детстве, помню, – откинулся на спинку Ворошилов, – очень любил Жюль-Верна. – Задумался мечтательно. – Очень был интересный писатель… Издаешь его?

– А как же, Климент Ефремович! Конечно издаем!

– Вот это хорошо. Это правильно! А что именно?

– Эгм. Да! Избранное!

– Что?

– Собрание сочинений издаем!

– Это дело. А сколько томов?

– Широкое собрание!..

– А?

– Двенадцать, Климент Ефремович! Двенадцать томов!

– Вот это – молодцы. Правильно. Хорошо. – Подмахнул план: – Пришли экземпляр в подарок, перечитывать буду.

– Слушаюсь!

Директора вытряхнули из лимузина у родного подъезда в предынфарктном состоянии. Выпил коньячку, закусил валидолом, рыкнул секретарше: – Всех специалистов по Жюль-Верну – срочно ко мне! Срочно!!! И – на – впечатай в план – в первый десяток позиций! – Жюль-Верн, собрание в двенадцати томах!

– Что?..

– Исполнять!!!

Все забегали, закрутили телефоны, залистали справочники, и к концу дня выяснили, что специалистов по Жюль-Верну в Москве не осталось ни одного. Кончились как-то специалисты. Кого посадили, кто помер, кто съехать успел давно, кто на фронте погиб, кто в эвакуации сгинул, а кто, возможно, скрывает, открещивается.

– Найти хоть на Камчатке!! Завтра утром!! Это – приказ!! – и палец в потолок. – Знаете, чем пахнет?!

Короче, вечерком у Брандиса вдруг звонит телефон, который уж давно онемел:

– Евгений Павлович? Как поживаете? Как чувствуете себя? – Дымшиц звонит, та еще сука, тогдашний начальник ленинградской писательской организации.

Евгений Павлович в трубку мычит потрясенно, что мол, спасибо, все хорошо, ничего.

– У вас не было в планах съездить в Москву?

– Нет… А что? Пока не было… А… что?..

– Через часок пришлем за вами машину, вы соберитесь пока, билет на «Красную стрелу» шофер передаст. Съездите в командировочку, проветритесь, возможно и дела какие-нибудь окажутся.

Брандис уже сползает по стенке и воздух ловит:

– А в чем дело?..

– В Москве вас встретят, все объяснят.

Брандису худо. Жена плачет и собирает белье и шерстяные вещи. Если опечатают квартиру – к кому идти жить? С кем это все может быть связано?

Доставляет его машина к «Стреле», дает шофер билет и командировочные. В Москве на перроне ждет топтунок:

– Вы – Брандис? Пойдемте.

В машину – везут. Привозят. Что за подъезд – не Лубянка, не Петровка… мало ли контор. Коридоры, кабинет, начальник:

– Вы Брандис? Садитесь. Значит, специалист по Жюль-Верну?

О господи, молит Брандис, неужели и за этого уже сажают, что делать.

– Да нет, что вы!.. Какой я специалист?.. Я и вообще-то германист, а не романист, так что…

– Жюль-Верном занимались?

– Да нет практически…

– Что?!

– Ну, детишкам там рассказывал…

Директор вынул из ящика и шлепнул на стол брошюрку:

– Твоя книга?

– Ну, какая ж это книга… незначительная компиляция…

– Что?! Что ты тут выеживаешься?! Твоя?

– Моя… но…

– Значит, так. Мы в этом году издаем двенадцатитомное собрание сочинений Жюль-Верна. Что тебе надо, чтобы сейчас составить содержание?

Брандис на миг потерял сознание.

– Ты что – спишь?!

– Но надо работать… библиотека…

– Сейчас тебя отвезут в библиотеку, после обеда привезешь содержание! Все!

– Но – собрание… – слабо соображая, прошептал Брандис. – Нужны комментарии, справочный аппарат…

Директор чуть задумался.

– Хорошо. Сколько времени надо на том? Три дня хватит? Через месяц подашь комментарии и справочный аппарат.

– Но это гигантский труд!.. я настолько не компетентен… я не могу… – пискнул Брандис.

– А тебя, тля, никто не спрашивает, – ласково разъяснил директор.

. . . . . .

– Вот так, – рассказывал Брандис, – у нас вышел роскошный, по сути – академический, двенадцатитомник Жюль-Верна, какого никогда не издавалось во Франции, да и нигде в мире. А я сделался специалистом по Жюль-Верну и потом получил уведомление от международного Жюль-верновского общества, что меня приняли в его ряды – а в нем всего триста человек. Правда, – вздыхал он, – на его ежегодные заседания меня в Париж так ни разу и не пустили.

Стиль Платонова и Толстой

– Платонова не люблю и читать не могу. Как не могу пообедать только икрой, или только медом, или только солью. Дегтярная вязкость и густота языка – подряд, в едином и очень условном ключе, на пространствах длинной прозы, вызывает рефлекторное отторжение. То, что хорошо как приправа и нечастый очень сильный элемент, в неограниченных дозах начинает с раздражением восприниматься искусственным, вычурным, специально придуманным. Так нельзя написать вещь, где каждое предложение, для усиления общего эффекта, кончалось бы восклицательным знаком. Пусть объяснят мне смысл конструкции «Он произвел ему ручной удар в грудь» вместо «ударил» или «но сам он не сделал себе никакой защиты» (от удара) вместо «никак не защитился» – и тогда я, туповатый недоумок, произведу благодарность просветившему мое понимание.

– Строго говоря, ничего принципиально своего Платонов в языке не изобрел. Он взял и возвел в абсолют и принцип своего письма то, что было у Толстого; но у Толстого, который плевал на прописные догмы грамматики, исповедуя точный смысл, оно встречалось изредка и всегда было наилучшей формой выражения, краткой, точной, нужной. А нестандартность, аграмматизм лексических и падежных сочетаний – та же. «На лице его промелькнула та же улыбка глаз», – это Толстой. «Улыбка стыдливости перед своими чувствами», – и это Толстой. «Она не решилась сделать вопрос», – и это он. «Переноситься мыслью и чувством в другое существо было действие, чуждое ему». «…и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость». «Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу». Вот вам и весь Платонов с его «сытостью организма» и «для силы своего ума».

– Так ведь он таким образом и воплощал всю неестественность, беспросветность, уродливую заемную фразеологию и абсурд происходящего! Этот мир искажен во всем, в том числе и на уровне языка! И через язык также дается его искаженность!

– Понимаю. Но читать не хочется. Неинтересно. Здесь степень деформации языка выше степени трансформации материала и сюжета: одеяло перетягивается, мера нарушена, и главным остается общее впечатление, а для полного его получения достаточно и пары десятков страниц, дальше – просто излишне, все уже ясно и постигнуто.

Красивое вранье Паустовского

– Долго не мог понять: Паустовский – так хорошо пишет, и чем он мне не нравится?.. Пока не перечитал «Снег». Боже мой: война, эвакуация, карточки, ребенка кормить нечем, вечно хочется есть, холодно, дров нет, сортир во дворе – тоже зимой кайф для горожанки, известия с фронтов убийственные: жить, выжить, ребенок, и – о господи: рояль, витые свечи, заснеженный сад, красивый офицер, отдыхавший до войны в Крыму – да кто в том Крыму тогда отдыхал?! бунинская, понимаешь, элегия!.. тут помыться бы теплой водой, мыла бы бельишко постирать да починить, ребенок заболеет – чем, как лечить… какие свечи, какой рояль!

Или, из знаменитых же – «Ручьи, где плещется форель». Смотрит зимой часовой вслед саням: «Ах, сейчас бы глоток горячего вина!» очень изячно. Об чем думает такой часовой, притоптывая по снегу? сколько там еще до смены! погреться бы! пожрать! выпить! эх, сейчас бы вот с такой бабой! куда она поехала, к кому, интересно? развлекаются, сволочи! Или – лошадей в гору гонит вскачь, – надоели ему эти лошади, что ли? так он их еще с бега посреди дороги решил попоить ледяной водой из горного ручья – пусть обопьются, родимые, авось сдохнут! зато рыба-форель в ручье хвостиком взмахнула – красиво, понимаешь!

Я бы этот стиль назвал романтизмом, а вот эпитета к этому романтизму никак не подберу: не шоколадный, не цветочный, не рождественский, а не знаю даже какой…

Гайдар

– Писатели любили хвалить его «Голубую чашку»: «Ах, какой замечательный, лучший рассказ» – «А жизнь, товарищи, была совсем хорошая» – последняя фраза; тридцать восьмой год на дворе; привет всем, дивный рассказ.

А есть у него рассказ славный, маловспоминаемый – «Патроны». Наскакали, значит, белые на село, всех в сарай под замок, там плачут, расправы ждут, – вдруг стрельба кругом, удрали белые, мальчик спрятавшийся подходит к сараю: «Ну, как вы там? сейчас открою». – «Погоди, сынок, пусть наши откроют». – «Какие наши?» – «Товарищи, красные». – «Да нет никаких красных…» – «Как же? а стрельба!» – «Да это я кругом деревни в кустах костров нажег и патроны в них побросал, рваться начали, вот белые и сбежали. Так что – выходите… обождите, замок собью…» Нехитро, но смысл хорош; часто вспоминаю; не будет тебе никаких торжественных освободителей – давай своей собственной рукой, попрозаичней.

Битов и фортуна

– …и вышла в начале шестидесятых книжка, и все ничего. А тут Михаил Лившиц, известный борец за реализм и нравственность, ее походя полил. Неприятно. Но тут полемика как раз разразилась между Лившицем и Эренбургом, и Эренбург, громя и поливая Лившица, и о Битове упомянул: и здесь, мол, неправ глупый ретроград Лившиц, прекрасный молодой писатель Битов, и книжка замечательная. Круги пошли, критики подключились, большая пря, и в эту прю Битова и втащило, попал на язык: которые, значит, за Лившица, те поливают, а которые за Эренбурга, превозносят. И оказался он как бы участком поля битвы, которую прогрессивная эренбурговская группа выиграла. Короче, сидит дома, никого не трогает, звонят: Ленсовпис, просим зайти. Заходит: рады познакомиться, знаем, что ж ничего не несете, давайте можем заключить договор. И вот слегка обалделый Битов выходит из Совписа с договором, ни сном ни духом о нем ранее не ведая. Так вышла книга «Большой шар», а Битов оказался в большой литературе…

Владимир Гусев

– Каким редким даром, каким удивительным талантом надо обладать, чтобы сделать непереносимо скучное чтиво из биографий таких героев и авантюристов, как Гарибальди и Лунин! (Есть выражение «из дерьма конфету сделать», так здесь как раз наоборот.)

– Так вот потому он больше учит других, как надо писать.

Александр Чепуров

– В бане паразит один клеветал; хотел я его шайкой ляпнуть, так в пару не разглядеть было, кто.

Когда-то (рассказывал) Ленинградскую писательскую организацию возглавлял стихотворец Александр Прокофьев, по-простому в обиходе – Прокоп. Круто деловой. Лауреат, черная машина, брюхо типа дирижабля «Граф Цеппелин» – эпоха, табель о чинах.

Вот подкатывает его лимузин к Союзу, а из дверей приятный такой молодой человек выходит. Узнает его через стекло, здоровается умильно и дверцу раскрывает заодно: уважение оказывает старшему, все равно рядом, вежливый такой.

И еще как-то раз также кстати выходит он. И еще. Мол, какие интересные совпадения. И уходит ненавязчиво своей дорогой.

И уже в коридорах Союза встречая, стал с Прокопом здороваться – узнавался. Разговора удостоился: приятнейший молодой человек, начинающий, бедный, и какой-то ненавязчиво приятно-полезный. Книжечки на автограф, как водится. И, короче, пригласил его Прокоп в литсекретари.

Что такое денщик босса? это маршальский жезл, сунутый тебе в ранец под груду хозяйского груза и грязного белья: топай, парень! дотащишь мое – и свое получишь. Прокопу-то брюхо мешало до шнурков на ботинках дотягиваться, так Саня Чепуров вообще незаменимый мальчик был.

Прокоп, скажем, возвращается из Москвы на «Стреле», а Саня его уже встречает с цветами и женой (прокоповской): пожалте встречу. А Прокоп выплывает из вагона под руку с бабой. А Саня, не усекя, ему букет и ножкой шаркает, на супругу кивает. Прокоп почернел, ткнул ему обратно букет и потопал один. Мило услужил. Еле отмолился.

Вот так Саня и двинулся в начальники Ленинградского СП, каковое и возглавлял много лет весь «застойный период».

Новаторы и консерваторы в литературе

– Та самая энергия, которая заставляет человека стремиться изменять искусство, заставляет его стремиться изменять и жизнь. Спорить о новаторах и консерваторах глупо – это диалектическая пара. Примечательно, что сейчас это размежевание в искусстве и политике удивительно совпадает. Традиционалисты-реалисты-деревенщики неизбежно оказались консерваторами и реакционерами: и одно и другое обусловлено их сущностью, их как бы недостатки со всей яркостью есть продолжение их как бы достоинств.

– Забавнее, что те, кто раньше умилялся: «Ах, Распутин… О, Белов…» – теперь сокрушаются: «Ай-я-яй, Распутин… ой-е-ей, Белов…» Хотя ни как писатели, ни как личности они совершенно не изменились. Никогда там не было большой литературы. Тот самый недостаток внутреннего потенциала, не дающий выйти за рамки общепонятной литературной традиции, не дает выйти и за рамки горестной традиции политической.

– Но эти ребята безусловно вызывают уважение. Честностью, стойкостью и последовательностью. Раньше их бесспорная заслуга была в том, что они открыто писали правду, не боясь неприятностей – правду, которую очень многие знали и написать в принципе могли, но избегали портить себе жизнь. Однако минуло дикое время, когда акт гражданского мужества провозглашался актом художественного свершения: сказать правду еще не есть литературное достоинство, этого мало. А теперь многие – без риска! – пошли в говорении правды и анализах гораздо дальше, и стоики-деревенщики в неизменности своей позиции из авангарда оказались в арьергарде…

– И – логично и прискорбно – в этом арьергарде сомкнулись с аппаратной швалью, повинной в бедах, за которые болит их сердце.

Напутствие молодым

– В семьдесят третьем на Конференции юных дарований Северо-Запада – нормальная пустая болтовня, бодяга, но по молодости-то и литературной девственности щечки горят! похвалы вдохновляют, поучения бесят! при том, что руководителей презираешь как мелочь второсортную – а признания хочешь! суета-с…

И вот – закрытие: маститые с трибуны слова говорят, старики-Державины, так сказать, изображают, что готовы передать свою лиру, хотя и лира у них не лира, а пищалка дурацкая, и вцепились они в нее, как голый в свечку. Михалков вещает, записку из зала зачитывает: подхалимская такая, низкольстивая записка: ну, перебрал молодой по неопытности с лестью, решил, должно, что Михалков оценит и, скажем, познакомиться с ним захочет. А на фига ж Михалкову такие знакомства? И, зачитав, он с сокрушенно-язвительно-умной улыбкой говорит: по литературной речке много всего плавает, и большие рыбы, и поменьше, и маленькие, а есть и то, что плавает поверху! Заржали все охотно: мол, достойно ответил Михалков. Ах, думаю, умный кит пресноводный, уж ты ли не плаваешь всю жизнь поверху?

И тут Гранин напутствует. От легкой жизни предостерегает, от соблазнов сладкого литературного пирога, благ и льгот, легких денег: это, значит, опасно, вредно для личности и творчества, не надо увлекаться слишком ранними публикациями, спешить в печать, строже к себе быть, суровее к себе. Я чувствую – белею! было б что под рукой запустить в трибуну – запулил бы, и плевать на все!

Семьдесят третий год на дворе! нас всех давят всмятку, и еще лет тринадцать давить будут, душить наглухо серой подушкой, в печать не пробиться, нас дворницкие ждут, спивание, психушки, эмиграция, отчаяние, а великий Гранин, понимаешь, нас остерегает от опасности легких литературных денег! Подыхающему с голоду – о вреде обжорства!

Часто упоминает – галстук он не любит. Правильно не любит. Потому что носить его не на чем. Галстук носят на шее, а шеи там нет, только и всего. Чем не причина для распашного демократизма.

Рекомендациями ихними, что творческими, что в печать, можно было подтираться сразу, но очень было забавно наблюдать, как кто-нибудь из руководителей с видом важным и ответственным начинал давать советы: ковал, значит, молодые таланты, влиял на течение литературного процесса. Это по какой-

то странной ассоциации напоминало мне старинный анекдот о йоге, занимающемся онанизмом, лупя себя молотком по мошонке – зато промахиваясь он испытывал гигантское наслаждение.

Правда, вымысел, ложь

– «До свидания, мальчики» Балтера, книга в свое время знаменитая, – автобиографична и таковой выглядит. Выглядит она просто безусловной правдой, это рассказ о рубеже юности своей и друзей, выдумать это невозможно – смысл исчезнет. И вот, читая это лет в семнадцать, я задержался на одном месте – где он, днем, на песке: «Я не могу так тебя оставить…», берет свою Инку. «Я еще подумал, как трудно будет вытряхивать песок из густых Инкиных волос». И вдруг, перечитывая, почувствовал: неправда. Не было этого. Все было, а этого не было. Вот не знаю, почему, но хоть ты тресни – не было! И деталь, и психологический штрих, долженствующие подтвердить, увеличить правдоподобность, реальность, – «подумал», «песок, волосы», – не подтверждают, а наоборот, мешают. Ну, может, целовал он ее, трогал на этом песке, но не брал – ну голову заложить готов!.. Ну вот по всему остальному – не получается, мелочи не сходятся, рисунок не совпадает, разнобой получается.

Через много лет познакомился я с одноклассником и довольно близким приятелем Балтера в школьные годы, завел разговор. Да!!! Он ее любил, а она его не очень, первая любовь, ничего не было, все знали.

Когда пишется по правде, присочинять нельзя ничего. Иной ключ, иная тональность, иная система условностей: уши всегда вылезут.

– Бедный хороший Балтер.

Имидж

– О, без умения построить и поддерживать эдакую легенду о себе – нет славы! Уж Наполеон, презирая толпу, умел именно играть свою роль. И стараются, как могут. Небрежно рекламируют свою короткую близость со столпами мира сего и публикуют фотографии с ними. Евтушенко не дает забыть, что он с глухой сибирской станции Зима, где и прожил-то крайне короткое время, Вознесенский культивирует свои клетчатые пиджаки и шейные платки, Семенов рассказывает о дружеских беседах с главарями мафий и Отто Скорцени, а Пикуль позирует в бескозырке и рассказывает о своем богатейшем и редком историческом архиве, коий он глубочайше знает.

– Без паблисити нет просперити. Простым людям приятны легенды: подай героя, необыкновенность, им и восхищаться не стыдно, и подчиненная близость к нему возвышает.

– Ах, боже, как смешно и самолюбиво поддерживал Фолкнер легенду о себе как о боевом летчике Первой мировой, на которую он попасть не успел. Маленький, мирненький, – слава большого драчливого Хемингуэя, кого он не переваривал, покоя ему не давала?

– Хемингуэй – вот непревзойденный мастер легенды о себе. Какой еще полутыловой санитар итало-австрийского фронта снял столько дивидендов с полуслучайного ранения, чтобы тянуть на героя? Кто еще из бойцов интербригад Испании снял славы с той войны столько, сколько тыловой журналист Хемингуэй? Какой профессиональный охотник на тигров-людоедов ознаменитился так, как покупавший тур сафари Хемингуэй – со слугами, оруженосцами, поварами и джипами? Какой клошар столько состриг со своей бедности в Париже? Когда же он рассуждает о Второй войне в духе, что не любит танкистов, потому что прикрытие неуязвимой брони делает людей наглыми – это просто бред самоуверенного дилетанта-туриста, не ведающего, каков век танкиста на фронте и как они горят.

– Он тоже знал, что делает. И продал он себя сознательно, в двадцать девятом году, Полине Пфейфер, за введение в высшие круги и рекламу среди вершин – сливок снобов, плейбоев и законодателей искусств. Что дало ему славу и богатство, но, естественно, не счастье. Вот он и задергался, страдал раздвоенностью желаний – и славы, денег и величия хочется, и делать чего хочется – тоже хочется. И, дрожа и дорожа своим реноме у магнатов, в пику им рекламно же нажирался с люмпенами и грозил дать в морду не понравившемуся гостю.

Фиеста

– И лучшей вещью Хемингуэя остается написанная в тридцать лет «Фиеста», – так и не прочитанная глупыми критиками во главе с Кашкиным, требовавшим ставить ударение в своей фамилии на втором слоге и принимавшим за чистую монету вежливые комплименты Хемингуэя.

А суть в том, что «Фиеста» – это «Идиот» в осовремененном американизированно-европеизированном варианте и вывернутый наизнанку. Все герои – грешные, аморальные, ненадежные, и делающие все – чисто по Достоевскому! – наоборот от нормального! Пылкая красавица любит исключительно импотента, который никогда не сможет ее удовлетворить. Он, любя ее, выступает в роли сводника, прекрасно понимая, что это не кончится хорошим ни для нее, ни для юного матадора, который ему также крайне симпатичен. Аристократ-богач-алкоголик, жених красавицы, оказывается стеснен в средствах – а только его деньги и были нужны. Но при этом – все эти люди приятны, милы, симпатичны, несчастны и вызывают любовь и сочувствие своей естественностью – нормальные живые люди, вот уж с такой судьбой и в таких обстоятельствах: они ходят по путям сердца своего. А единственный, рационально рассуждая, положительный герой – Роберт Кон, не такой как все, еврей, с комплексами, носитель морали и нравственных ценностей, любящий героиню бескомпромиссно, который не просто выступает всегда носителем морали – но и борцом за мораль – причем с кулаками, боксер, любого укладывающий на пол; тем не менее он всех раздражает, для всех лишний, и читателю неприятен: тоже князь Мышкин наоборот! Что подтверждается демонстративно: Хемингуэй в это время читал Достоевского, так последняя фраза «Фиесты» дословно повторяет последнюю фразу «Униженных и оскорбленных» в переводе Констанс Гарнет, каковой Хемингуэй и читал; не такой был мальчик, чтобы допустить случайное совпадение с чем-то финальной фразы своего первого романа!

– Идиоты эти литературоведы!..

Пикуль

– Кто высунулся, того и хают. На девять тысяч серейших письменников никто и не плюнет за ненадобностью, а у него полстраны читателей – давай польем! покажем, чем он плох!

«Ах, он врет, он фальсифицирует, он искажает и передергивает!» Да, врет, да, передергивает, ну и что? Он берет самые сенсационные, давно забытые всеми, кроме профессиональных историков, версии, и выдает дивный беллетристический вариант исторической сплетни. Или легенды, если хотите, или байки, или анекдота. А люди обожают легенды, байки и анекдоты, и ничего плохого здесь нет.

– Но он выдает их за правду!

– Как всякий хороший рассказчик.

– Но люди верят!

– Лучше верить Пикулю, чем Георгию Маркову или Галине Серебряковой, что, впрочем, и невозможно.

– Он шовинист!

– Верно. Но шовинистов много, а тех, кого можно читать – мало.

– Он плагиатор! Он перекатал дневники Бисмарка страницами, и массу еще чего!

– Да читателю-то какое до того дело? Он поучает, развлекая.

– Его читать невозможно!

– Значит, полстраны делает невозможное; что, правда, вполне в нашем характере. Да, бывает и слишком длинно, развалисто, нудно, – но «Пером и шпагой» куда как неплохо. Масса людей и поныне бы у нас не узнала, что был Фридрих II, и Семилетняя война, и Олений парк Луи XV, и прочее.

– Так можно лучше читать книги по истории!

– Оставьте ваше ослиное фарисейство! Их и так-то читать невозможно от скуки, и где кроме читалок Москвы и Ленинграда они есть?

– Ох, писал бы он лучше свои морские романы.

– Вот это-то и не так. Там масса ляпов, драть дармоедов и тупиц редакторов. То у него «каталина» падает с неба на четырех звенящих моторах… она б, сердешная, и падала на четырех, да у нее всего два было. То, описывая шимозу в Цусиме, он порет нечто, не удосужившись, видимо, заглянуть в Брокгауза, що це такое и как его делают. То котельное железо называет крепчайшим, хотя всем известно, что оно мягчайшее и в качестве преграды для снаряда подобно картону; то не знает отличия фугасного взрывателя от осколочного, а снаряды из морского

орудия у него видны в полете и кувыркаются, как городошные палки, что, правда, списано из другого автора, но все равно чушь: снаряд наблюдается только от орудия, когда он удаляется от тебя и угловой скорости относительно тебя не имеет, а кувыркаться он, пройдя по нарезам и будучи стабилизирован вращением, не может никаким каком, кроме одной ситуации, но о ней Пикуль не упоминает: когда сблизившись с водой под очень острым углом, он рикошетирует – вот в таком рикошете и может лететь беспорядочно.

А вот в «Караване PQ-17» он делает вещь скверную. Англо-американский мощный конвой оставил караван, бросившись на перехват немецкой эскадры с «Тирпицем», чтобы отрезать его от баз и превосходящими силами уничтожить в стороне от грузовых коммуникаций, обезопасив их и на будущее, но до этого торпедированный «Тирпиц» ушел, и союзники его не встретили, а немецкие подлодки расклевали беззащитный караван. Пикуль же подает это как предательское и трусливое бегство союзников ради спасения собственной шкуры. Недостойно.

– Он умный. И образованный. И все понимает. И понимает, что продал большой, энергичный талант за деньги и не самой высокой пробы, с оттенком иронии, славу.

– А чего еще?

– А – истина. Отложенные на потом и так не взятые вершины в искусстве. Поэтому он на самом деле печальный писатель. И его умные, печальные и образованные герои прокатывают воспоминания и изрекают пространные сентенции, вовсе не требующиеся ни по образу, ни вообще по книге: это мысли и знания самого Семенова, которые ценны и хороши, и которым жаль дать пропасть втуне. Он сам не столько Штирлиц, сколько Мюллер; не столько Дорнброк, сколько Бауэр.

– И однако для меня несомненно, что он больший писатель, чем, скажем, Распутин или Нагибин. Больше смысла, больше искусства, да и просто гораздо интереснее, наконец. Да, есть и халтура, есть и своего рода шедевры. Лучшие его штуки и перечитывать приятно – а это симптом!

Не уподобляйтесь во мнениях эстетствующим снобам – это то же тупое стадо, только на уровне окололитературных кругов.

Критика

– Банда кретинов, боже мой! Что за профессия: профессиональное высказывание мнения? Дивно: зарабатывать на хлеб обгаживанием чужого хлеба. И ведь понять не удостаивают: им некогда, критика – их регулярное занятие, быстро проглядеть – и выдать мнение. И не потому, что нравится или не нравится, а работа такая. Тяп-ляп – ускорение. Нет, несколько человек найдется, раз-два-три, но прочие, все эти пристраивающиеся к мельницам Клопы-Говоруны и … … – что бы они стали делать, если бы те, по кому они «проходят», перестали писать? Поразительная поверхностность, поразительная заданность в раздаче ярлыков, поразительное невидение написанного. Вдуматься в смысл текста, допустить возможность, что они что-то элементарно не знают и не понимают – отсутствуют принципиально, принципиально отсутствует та самая интеллигентность мышления, коя есть сомнение и неудовлетворенность собственными достигнутыми результатами. Особенно это видно у нас на критике о Пушкине: работает целая кондитерская фабрика по выработке елея, патоки и глазури для Пушкина, каждое слово берется за эталон, каждая запятая заведомо гениальна, Пушкина как автора для них нет, есть идол, канонизированный гений, сияющий пророк, протрубить которому – не акт критики, не дань признания, но символ веры и причащения божества. Не то минигеростраты, не то лягушки, пашущие на головах волов… И при этом думают, что они умные, только на том основании, что любого умного могут обгадить и объявить глупее себя. История нас, конечно, рассудит; все это было бы смешно, когда б так сильно не тошнило.

«Молодая Гвардия»

– Сижу фанза, пью чай, никого не трогаю. Денег нет, журналы все рукописи возвращают, книга в издательстве двигается со скоростью построения коммунизма, работа двигается с той же скоростью, бессонница: короче, нормальная, жизнь: застой. Шарах – пакет из «Молодой Гвардии». Что за черт – я ведь им ничего не посылал, никого не знаю и знать не собирался. Письмо: уважаемый, тра-та-та, Вашу книгу нам рекомендовал Сергей Павлович Залыгин, предлагаем прислать рукопись, включив в нее лучшее и из той, первой книги, не затягивайте, давайте, рецензию на книгу прилагаем, она Вам на периферии Вашей может сгодиться, все же центральное издательство, тра-та-та. И рецензия – Роберт Штильмарк, автор дивной «Наследника из Калькутты», расхваливает меня, грешного, на все лады. Ну – ура, ура, вся шайка в сборе, как гласит известный американский марш. И подписи – завредакцией Яхонтова, старший редактор Шевелев. То есть выпить необходимо на радостях, так ведь нет ни копейки. Ну, праздник!

Немедленно вынимаю из машинки неоконченный рассказ – сочиняю ответное письмо; такое письмо – это ведь дипломатический документ, составляется обдуманно, просчитанно, с толком. Рад, благодарю, тронут, вышлю, – максимум приязни при скромности, но с достоинством. Из последних своих семи экземпляров книжки той упомянутой единственной надписываю тепло и трогательно два и назавтра же несу бандероли на почту.

Денег на машинистку не бывало в помине, доступа к светокопировке тоже не бывало: долблю, как дятел, по пятнадцатому разу перепечатываю собственные рукописи двумя пальцами, аж в глазах все зеленое, и тошнит: шлепаешь-шлепаешь, а они пропадают везде, и вместо того, чтобы новое писать, тюкаешь бессмысленно. Уж все переносы строк наизусть помнишь там, тридцать страниц в день даешь – и в глазах белый свет мутнеет и двоится. Интеллектуальная работа. Полезное занятие, с толком лучшие годы тратятся.

Через пару недель узнаю телефон той редакции, узнаю отчества подписантов радужного того мне письма, звоню солидно: получили ли письмо. Как-же-как-же, спасибо, чудесно, давайте к 1 Мая, и мы это тогда просто в будущем же году издадим. Огромное спасибо, непременно, крайне благодарен, только что не целую.

Дописываю еще несколько вещей, срок висит – непривычно,

никогда не просили нигде ничего, нервирует срок. Верчу содержание так и эдак, поудачнее чтоб, поправильнее, поорганичнее, и чтоб не больно круто, не больно то есть мрачно и резко все это в совокупности выглядело, а то, говорят, «„Молодая Гвардия“ придерживается заголовка „Оптимизм – наш долг“, – говорит государственный канцлер», как писал Кестнер. Ни хрена не получается сильного оптимизма. Тогда сопроводиловку пишу: мол, сделал все согласно всем требованиям, что именно так, как шел у нас разговор, выполнил, то есть, Ваши требования.

Через пару месяцев звоню ненавязчиво, – мол, не потеряла ли почта, а то она неаккуратная такая, клевещу по-черному в оправдание своего звонка; спасибо, отвечают, все чудесно, получили, отдали на рецензию, позвоните через пару месяцев, рассчитываем уже иметь рецензию, и сразу в план и в работу. Суперспасибо, простите, всех благ, всех благ.

Боже, чудесно-то как; считаю сроки, считаю гонорар, иду в читалку посмотреть книги того же редактора, тираж смотрю, объем: во, поехало дело, лиха беда начало, скоро нарасхват буду, оценили.

А скоро звонят мне: тут Шевелев приехал из Москвы, в союз заходил, про тебя спрашивал, встретиться хотел, они тебя издавать будут, знаешь? позвони, он в «Олимпии» живет.

Навожу справку, звоню: о, искал вас, приходите, когда сможете? чудесно, поговорим, познакомимся. Мою голову, глажу рубашку, одалживаю деньги, кладу в портфель коньяк: покатился.

Улыбается Шевелев и руку жмет, приязнен, весом, рассказывает, кого он вот так нашел и в литературу вывел. Варвик – делатель королей. Через год рассчитываю вас выпустить. Балдею.

И от рассказа о себе переходит к расспросам обо мне. Кто, как, откуда, какие с кем отношения. А как вы знакомы с Залыгиным, что он рекомендовал вас?

И вот тут мой распущенный мысленно павлиний хвост затемнил мне мозги. Мне бы щеки надуть, паузу выждать, полуулыбнуться со смыслом и сказать типа: ну, это старое знакомство, нас с Сергеем Павловичем довольно многое связывает, и чтоб ясно стало, что детальнее лезть бестактно. А я бухаю ему правду неловко как голый зад: что отлили мне жутких комплиментов на одной региональной литговорильне, Залыгин присутствовал, подошел после, руку пожал и книгу просил прислать, когда выйдет. Ну, я прислал, на ответ по занятости его уж безусловно не рассчитывая. И вот уже два года прошло, я и думать забыл, а Залыгин, видите, доброжелательный какой и незабывчивый человек.

И думаю, вижу по лицу шевелевскому ясно: что ж это я несу, болван, кем же я себя выставляю, роняю в прах собственные акции!

Поговорил он еще о нейтральном, а потом с некоторой такой не совсем уклюжей интонацией спрашивает: «Простите, а кто вы этнически?» Ах ты мать моя, думаю, наконец-то мы дошли до предмета нашего разговора. И смотрит он мне доброжелательно вроде и в глаза, а вроде и взглядом не встретиться, – в переносицу смотрит, как некогда иезуитов учили.

И тут я объясняю ему, что этнически со мной произошло большое несчастье, можно сказать, бытовая такая катастрофа, но поделать ничего нельзя, смирился уже как-то, бывает, Онегин, я скрывать не стану, еврей, понимаете, что же тут. То есть и в паспорте у вас так же записано? – А что ж там записано – монтигомо ястребиный коготь? и в паспорте, и в военном билете, и везде, где можно записать. Пытался я, мол, обменять одну национальность на две судимости, но – не удалось, предложение превышает спрос.

После тридцати, знаете, как-то легче к этому относишься. Вот лет в четырнадцать, в комсомол нас в райкоме принимали, все хорошо, приняли, первые в классе, молодцы, билеты выписывают, и тут вдруг она спрашивает: национальность! Я даже одеревенел, и деревянным голосом в воздух проговорил: еврей. А следом Марика Лапиду принимали, так он побагровел и выдавил в ответ: «Как у него…» Интересно, она у него до сих пор как у меня, или он с ней что сделать сумел?..

Шевелев, однако, выражением лица понимает, сочувствует, считает это нормальным и выражает всяческое нормальное и хорошее отношение. И вскоре мы крайне дружески расстаемся, и он дружески воспринимает мои речи, имеющие подтекстом трудную мою жизнь, которую я живу не жалуясь и принимая как должное. Звоните, говорит, вскоре.

И через два месяца, копая с археологами остров Березань, добираюсь я баркасом до берега, пру по жарище на почту, плавлюсь там два часа – жду, когда Москву телефонистка даст, – и Шевелева не застаю. И еще рейс: болен. И еще: отъехал. И достал: нет, рецензии пока нет, не волнуйтесь, давайте через пару месяцев.

Звоню через пару, осень дождливая: нет, еще нет. А что, не прочитал? Прочитал… но не написал? не написал… Не понравилось? да как-то, знаете… мы другому дадим. Звоните. Через пару месяцев.

Звоним через пару месяцев. Нет, не написал, но это неважно, я сам сейчас прочту, это важнее, оно определяет. Н-ну;

я понемногу понимаю при всем своем идиотизме, что нефиг тут уже, похоже, определять.

Но опять звоню. Да, говорит, рецензии-то есть… Что, не совсем положительные? Да, вы знаете… но ничего, мы тут еще попробуем.

Плюнул я на эту глупую историю и думать забыл.

Но к 1 Мая приходят две бандероли из Москвы. Иду на почту: вот они, родимые, две мои папки по пятьсот страниц – два экземпляра. Спасибо – вернули ведь!

Пришел, сел, закурил, ножницами аккуратно разрезал – пакет приложен. Письмо. Так мол и так, уважаемый, книга не получилась ни оптимистичная, ни жизнерадостная, как вы утверждали, и нам она не подходит. А также прилагаем две внутренние рецензии, с которыми издательство согласно.

И рецензии. Одна – забавная: автор раз за разом разносит рассказы, завершая: может, такое и имеет право на существование, но он лично не приемлет и рекомендовать не может. Разносит он именно те опусы, которые год назад в ихней же рецензии Штильмарк поощрял.

Но вторая – о це да. Шрифт портативный, нечищеный, бумага серая, через полтора интервала лупит. Сразу видно – профессионал. И что лупит! у меня сигарета на штаны упала. И скрытое надругательство, и замаскированную издевку, мазохизм и мизантропия, садизм и пацифизм, только терроризма и онанизма там не было, кажется.

Я вначале отказы собирал. На память. Для счета. И чтоб потом показать им же. И т. п. Потом бросил. Чушь. Маразм. Дело делать надо, а не говно коллекционировать. Так что кинул я это в камин, сжег, и фамилии рецензентов близко не помню – на хрена? зачем держать в доме ли, в голове, злые бумаги, не любящие тебя. Еще не хватало.

И уж много спустя рассказал это приятелю одному, – повеселил. Они ж тебя, говорит, не за того приняли.

Я их тоже не за тех принял.

Вот и вся история, как я печатался в «Молодой Гвардии».

И хрен с ними. Жаль только до сих пор – ведь пятьсот страниц сам перепечатывал! Шевелев попросил двадцать листов представить, – естественно, рецензенту тоже заработать надо, ему же с листа рецензируемой рукописи платят, по десятке за лист; так что двое засранцев по две сотни на мне срубили. И хрен с ними.

Переводчики

– Когда читаешь два разных перевода одной и той же вещи – в прозе, я сейчас имею в виду, – кажется, будто переводчик кладет перед собой уже имеющиеся переводы и старается, чтобы ни одна фраза не совпадала – хоть словом! – с тем, как она уже была переведена. И думаешь, что и сам неплохо мог бы быть переводчиком, имея уже один перевод – как подстрочник.

– А что ты думаешь? Так оно часто и есть.

– И сплошь и рядом ухудшают то, что удалось предшественнику!

– В этом плане гигант, конечно, Николай Любимов! Мало того, что подгреб под себя французскую литературу и изгадил кучу вещей, так еще поимел репутацию мастера и наставника. Каков был блестящий перевод «Мадам Бовари» Ромма – русский язык по нему писателям изучать можно было! – наш гигант все перепортил: где у Ромма «белевшие на земле щепки» – там у Любимова «валявшиеся на земле щепки» – лишнее, паразитарное слово, чего никогда не мог допустить Флобер. А как перевел некогда Михаил Кузмин «Хронику времен Карла IX»! – наш Колюня и Кузмина похерил, читайте теперь блестящего Мериме в его бестолковой обработке.

– Э… В старом переводе «Трех товарищей» было (Карл – призрак шоссе) – «победоносный навозный жук», в новом – «непобедимый замарашка»… спасибо вам за такой перевод.

– Страшно вымолвить, господа, но мне, глупому, кажется, что и Пастернак был далеко не такой хороший переводчик. Бо ни смака в нем, ни сока, ни раблезианства, ни иронии, а ведь Шекспир, кроме всего прочего, был гениальный кичмен, не боявшийся ни «литературщины», ни «дурного вкуса». «Кто это сделал, лорды?» вопрошает Макбет. Где эта неулучшаемая в контексте, адекватная фраза? Где «мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега»? Пастернак всю жизнь был рафинэ, что и подчеркивал сам утрированно не без пользы для себя, и лучше всего ему, видимо, дались бы переводы французского декаданса.

– Ах, боже мой… Да встречал ли ты в литературных кругах человека, который не подтвердил бы, что слава Гамзатова – это плод удачного сочетания выигрышной социалистически-расцветшей биографии сына маленького народа и хороших стихов Хелемского и Козловского, или Гребнева, кого там еще? по мотивам его нехитрых сочинений, которые никто, кроме аварцев, в подлиннике не читал.

– Ну, расцвет малых и отсталых народов при социализме – вообще особая статья. Своего рода директивная литература, которой предписано быть и цвести, подтверждая тем учение. И вот – свободные для них позиции в издательских и редакционных планах, и лихие литволки-поденщики пашут по полуграфомании, выколачивая из буквы рубль.

– Я вам, братья, банальное скажу: кто может писать свое – чужое переводить не станет, а кормиться уж лучше ночным сторожем, не свет клином сошелся на литфондовской даче и путевке в Коктебель.

Театр

– Не театр, а недоразумение божье. Режиссерский театр!

Раньше играли что? пьесы. Теперь играют что? спектакли.

Некогда драматург писал пьесу, актеры играли, зрители смотрели что-то новое. А режиссер был как бы начальником труппы, завлитом, администратором и так далее. И была основой театра драматургия. Дважды два, конечно.

Синематограф театр подрезал крепко. Так же как теперь ТВ подрезало синематограф. Смотреть лучшие вещи в лучшем исполнении, не слезая с собственного дивана, – так какой же осел теперь попрется в убогий областной театр наслаждаться хрестоматийным Шекспиром в третьеразрядном исполнении.

Теперь режиссеру драма как таковая не нужна. Ему нужно сырье для воплощения собственного гениального замысла. Литературная основа низведена до роли служебной, вторичной. А главное – засадить все под таким углом, с таким вывертом, чтоб все сказали: «Ух ты! как гениально он это прочитал! / поставил! / увидел! / трактовал!»

Главным конфликтом театра стал конфликт между режиссером и текстом, от которого он отталкивается, как прыгун от трамплина, чтоб навертеть свои сальто и кульбиты. Предпочтительны постановки по нашумевшей прозе, и чем труднее перевести ее в театральный ряд, тем больше чести, одновременно и рекламы.

Если может быть колбаса без мяса, почему не может быть театра без драматургии.

Массовость кино и телевидения лишили театр смысла играть уже известное или уже известным образом. Разделение специфики. Или убогое эпигонство, или оригинальность.

Голая городничиха, трясущая сиськами перед Хлестаковым – обычная ныне такая оригинальность. Вскоре мы увидим, как Хлестаков на авансцене трахнет Городничего. Привет Гоголю от Моголя.

– Чехов оказал театру… э-э-э… неоднозначную услугу, гениально давая чувства героев подтекстом обыденных фраз. И поехало: чем дальше текст от подтекста, тем, стало быть, театральнее. Телефонная книга как предмет постановки. Почему не справочник глистогона? Актер вздыхает: «Ох, что-то у меня спина болит», а зритель должен понимать: «Долой царизм КПСС! Да здравствует свободная любовь плюс землю крестьянам!» А если драматург сразу напишет то, что и должен понимать зритель, то режиссеру это на фиг не нужно: в чем же тогда

проявляться гениальности его, режиссера?

Поэтому я лично хожу в кино. Пусть театр кризисует и умирает без меня. У каждого свои проблемы.

Будущее нашей культуры

– Похоже – заграничное… Театры, балеты, музыканты – уже живут и работают больше там, чем дома. Киношники, сценаристы, актеры – по возможности тоже хотят там – открытый богатый мир, большие заработки. И если все пойдет, как намечается идти – открытие границ, демилитаризация и превращение агрессивной сверхдержавы в сырьевую колонию – эмигрируют или уедут на заработки на неопределенное надолго двадцать-тридцать миллионов человек…

– Если только Запад границу им не перекроет.

– Возможно… и люди искусства, как многие прочие, предпочтут жить и писать за границей, а в Россию приезжать в отпуск, возить подарки родным, вдохнуть дым пенатов и причаститься истоков.

Нобелевка

– Шведы тоже странные ребята, не усечь мне их логики. Бунин получил премию, а Набоков – нет. Синклеру дали – а Уоррену, написавшему великий, видит Бог, американский роман «Вся королевская рать» – не дали. Неужто Уайлдер был меньший мастер и мудрец, чем Хемингуэй? ерунда. Что, новеллистика Акутагавы или Борхеса меньшее явление, чем Зингер? Я уж не говорю о Райте и прочей ерунде. Увы – и здесь ошибки и вкусовщина и всякие внелитературные факторы-с… Прямо даже уменьшается желание получить ее.

60-е, 70-е, 80-е и т. д.